

A man and a woman are seated at a desk in a library, looking at a large stack of papers. The man, on the left, is wearing a dark suit and tie, and has a serious expression. The woman, on the right, is wearing a grey jacket and is looking intently at the papers. The background is filled with bookshelves and a large window with a grid pattern.

Петр Сойфер

Протокол распада

Петр Сойфер

Протокол распада

<https://litres.ru/74235022>

SelfPub; 2026

Аннотация

1959 год. Клиника в Новой Англии, тайно финансируемая ЦРУ. Архивистка Маргарет Грейс приезжает лечить провалы в памяти — и становится Объектом 4 в программе МК-Ultra.

Доктор Леви демонтирует её личность по семи осям уязвимости: статус, нормы, страх, привязанность, рутина, ресурс, круг близких. Офицер Вэнс ведёт протокол — пока не понимает, что смотрит и на своё прошлое.

Когда программу свернут, а объект решат уничтожить, у троих остаются дни решить, кто кого предаст.

Без телекинеза — клиническая точность и документы Холодной войны.

Петр Сойфер

Протокол распада

ПРОТОКОЛ РАСПАДА

Доктор Сойфер Пётр

ПРЕДИСЛОВИЕ

К середине XX века вопрос о том, поддаётся ли человеческое сознание управляемому демонтажу, перестал быть областью умозрения. Он стал предметом финансирования, штатного расписания и грифа секретности.

Программа, известная под криптонимом MK-Ultra, была официально санкционирована директором ЦРУ Алленом Даллесом в апреле 1953 года. Ей предшествовали два менее масштабных проекта — BLUEBIRD, начатый в 1950 году, и сменивший его в августе 1951-го ARTICHOKE. Оба занимались одним и тем же вопросом: можно ли методами гипноза, изоляции и химического воздействия заставить человека действовать против собственной воли, вплоть до полной потери памяти о содеянном. MK-Ultra объединила эти работы в зонтичную структуру из полутора сотен субпроектов, распределённых между университетскими лабораториями, психиатрическими клиниками и тюрьмами на территории США и Канады — зачастую без ведома самих исследовательских учреждений о конечном заказчике.

О существовании программы почти ничего не было известно почти два десятилетия. Основная часть документации была уничтожена по прямому распоряжению в 1973 году, когда ведомство, реагируя на нарастающий политический скандал вокруг Уотергейта, спешно избавлялось от материалов, способных скомпрометировать его довоенную и послевоенную практику. Публике программа стала известна лишь в 1975 году — благодаря слушаниям комиссии Рокфеллера и сенатского комитета Фрэнка Чёрча, расследовавших превышение полномочий американских спецслужб. Толчком послужила и смерть Фрэнка Олсона — гражданского сотрудника армейской лаборатории, который в 1953 году, спустя неделю после того, как ему без ведома подмешали ЛСД на закрытой встрече исследователей, выпал из окна нью-йоркской гостиницы. Его семья добивалась объяснений более двадцати лет.

Уцелевший фрагмент архива — около двадцати тысяч страниц финансовой документации, случайно не попавшей под уничтожение из-за ошибки в маркировке, — был обнаружен в 1977 году в ответ на запрос по Закону о свободе информации. Именно эти страницы, вместе с показаниями свидетелей на закрытых слушаниях, остаются сегодня основным источником знаний о том, что происходило в клиниках, подобных той, что описана в этом романе.

Настоящая книга не является ни документальной реконструкцией, ни попыткой восстановить утраченные архивы.

Все персонажи, клиника и происходящие в ней события — вымысел. Но методология распада личности, положенная в основу сюжета, — семь осей уязвимости, последовательно демонтируемых экспериментатором, — строится на реальных принципах, зафиксированных в рассекреченных материалах: изоляция от привычного круга общения, разрушение циркадных ритмов, управляемая тревога, химическая и сенсорная дестабилизация. Именно поэтому за ужасом этой книги нет фантастического допущения. Есть протокол.

Глава 1. Прибытие

Дорога к клинике петляла среди клёнов, ещё не тронутых полным пожаром октября — только край листа рыжел, будто спичка поднесена и тут же отдёргнута. Мэгги смотрела в окно такси и считала эти края, один за другим, как считают что-то безопасное, когда безопасного вокруг остаётся немного.

Водитель, пожилой человек с руками в старческих пятнах, всю дорогу молчал, и она была ему за это благодарна. От Бостона они ехали почти два часа, и чем дальше, тем реже становились дома, тем чаще — каменные ограды, за которыми паслись лошади, равнодушные к машине. Однажды дорога нырнула в низину, и там, у ручья, стоял олень — не убежал, только повернул голову, посмотрел вслед и снова опустил морду к воде. Мэгги подумала, что запомнит именно это: не название клиники, не имя врача, а оленя у воды в четверть третьего пополудни.

Дом появился из-за поворота внезапно — так вырастают вещи, которых ждёшь слишком долго, чтобы всё ещё замечать дорогу к ним. Белый, трёхэтажный, с колоннами, слишком парадными для того, что происходило внутри — она это уже понимала, хотя ещё не переступила порог. Перед домом — газон, подстриженный с той аккуратностью, которая даёт не садовника, а распорядок. Два клёна по бокам крыльца были одинаковой высоты, будто их подбирали по линейке.

Мэгги расплатилась, взяла свой единственный чемодан — синий, потёртый на углах, с отцовскими инициалами, которые она так и не удосужилась закрасить, — и постояла секунду на гравийной дорожке, прежде чем пойти к входу. Воздух пах прелой листвой и чем-то ещё, более холодным, что она не смогла определить — то ли дым из трубы, то ли просто приближение зимы, которая в Новой Англии всегда чувствуется раньше календаря.

Дверь открыла женщина в сером форменном платье — не медсестра, судя по отсутствию значка, скорее экономка или регистратор. Она провела Мэгги через холл с высокими потолками, где стояли часы старше, чем весь этот дом, и тикали громче, чем это нужно было в помещении такого размера. На стенах — ничего лишнего: ни картин, ни фотографий, только светлые прямоугольники там, где они, видимо, когда-то висели.

— Доктор Леви ждёт вас в кабинете, — сказала женщина, не оборачиваясь. — Чемодан отнесут в комнату отдельно.

Мэгги хотела спросить, в какую комнату, но вопрос оказался ей неуместным — как будто задавать его значило признать, что вопрос вообще имеет значение. Она просто кивнула и отдала чемодан.

Кабинет доктора Леви оказался угловым, с двумя окнами — одно выходило на подъездную дорожку, другое на сад, где между яблонями всё ещё лежали неубранные, побитые первыми заморозками плоды. Сам доктор поднялся ей навстречу — невысокий, аккуратный, в очках без оправы, отражавших свет так, что несколько секунд она не видела его глаз, только два светлых овала вместо них.

— Мисс Грейс. — Он не протянул руки, только слегка склонил голову, как кланяются в мире, где рукопожатие уже вышло из обихода. — Присаживайтесь. Дорога, полагаю, была утомительной.

— Не особенно, — сказала она. — Я видела оленя.

Он посмотрел на неё чуть дольше, чем требовал обычный разговор, будто взвешивал эту фразу на весах, назначение которых она не могла угадать.

— Здесь их много, — сказал он наконец. — Осенью выходят к дороге, ищут жёлуди.

Мэгги села в кресло напротив стола — глубокое, обитое тёмно-зелёным бархатом, продавленное множеством других тел до неё, — и попыталась вспомнить, зачем она вообще сюда приехала. Не в смысле причины — причину она помнила твёрдо: провалы в памяти, начавшиеся после похорон

отца, дни, которые она не могла впоследствии восстановить, будто кто-то вырезал их ножницами из киноплёнки её жизни. А в смысле того, почему выбрала именно это место — уединённое, дорогое, рекомендованное семейным врачом с осторожностью человека, который не до конца уверен, что делает правильный выбор.

— Расскажите мне о вашем отце, — сказал доктор Леви, беря блокнот. — Не о его смерти. О нём самом.

И она начала рассказывать — сперва неуверенно, потом всё свободнее, — не замечая, как за окном, в саду, ветер сры-
вает с яблони последний неубранный плод, и тот падает в высокую, не скошенную к зиме траву без единого звука.

Глава 2. Гипотеза

Доктор Артур Леви вёл дневник иначе, чем большинство его коллег. Не хронику наблюдений, но протокол мышления — так он сам это называл, хотя вслух произносил редко, зная, что формулировка прозвучит претенциозно даже для тех, кто разделял его методологические взгляды.

Запись от 14 октября начиналась так: «Гипотеза о подчинённой матрице требует пересмотра исходных условий эксперимента. Чтобы записать новую структуру идентичности, необходимо предварительно обнулить существующую — не повредить, не деформировать, но именно обнулить, вернуть систему в состояние, предшествующее формированию личностных констант».

Он поставил точку, снял очки и некоторое время смотрел в окно, за которым утренний туман ещё держался в низине сада, стелясь между яблонями, как дым от невидимого костра. Леви любил эти утренние часы перед тем, как здание просыпалось — тишину, в которой можно было думать о работе, не отвлекаясь на её человеческое измерение.

Человеческое измерение начиналось в девять, когда медсёстры разносили завтрак, а он спускался в архив — комнату без окон в цокольном этаже, где хранились личные дела каждого, кто когда-либо проходил через клинику. Дело Маргарет Грейс лежало сверху, ещё не подшитое, скреплённое канцелярской резинкой. Он взял его, сел за длинный стол, и первым его движением было не чтение, а действие иного порядка: он взял чистый бланк и вписал в верхнюю графу «Объект №4», а ниже, мельче — «Маргарет Грейс, временно».

Слово «временно» он вписал не из сентиментальности. Оно было частью метода. Если стереть имя сразу и полностью, объект инстинктивно цепляется за него сильнее, превращает потерю в травму, вокруг которой выстраивает сопротивление. Если же оставить имя формально существующим, но постепенно вытесняемым из обихода — номером на браслете, номером в расписании процедур, номером, которым к ней будут обращаться санитары, — переход происходит незаметно, как оседает пыль. К концу третьей недели, по его расчётам, объект начинает откликаться на номер быст-

рее, чем на имя. Это не было жестокостью. Это было наблюдением, подтверждённым на трёх предыдущих объектах, и Леви фиксировал его с той же бесстрастностью, с какой энтомолог фиксирует поведение колонии муравьёв, помещённой в новый лабиринт.

Он поднялся наверх, где в маленькой смотровой его ждала медсестра Ковальски с подносом инструментов для утреннего осмотра — формальность, необходимая для истории болезни, но полезная и по другой причине: осмотр давал возможность увидеть объект без подготовленной, социальной маски, в состоянии частичной физической уязвимости, которое частично отражает и уязвимость психологическую.

— Мисс Грейс, — сказал он, входя, и тут же поправился, будто оговорился: — Простите. Объект четыре.

Мэгги, сидевшая на смотровой кушетке в больничном халате, чуть подняла бровь — движение настолько лёгкое, что человек менее внимательный не заметил бы его вовсе. Леви заметил. Он записал это позже, одной строкой: «Первая реакция на переименование — микровыражение недоумения, без вербального протеста. Хороший знак — интеллектуальный контроль превалирует над эмоциональным».

За окном смотровой, чуть покосившись от ночного ветра, стоял флюгер в форме петуха — деталь, которую прежние владельцы дома оставили, не подозревая, вероятно, что их наследие будет использовано подобным образом. Флюгер поворачивался медленно, со скрипом, который в тишине смот-

ровой был слышен отчётливо, как метроном чужого, неторопливого времени.

— Как вы спали этой ночью? — спросил Леви, доставая стетоскоп.

— Хорошо, — ответила она. — Дом... тихий. Слишком тихий, может быть.

— Тишина бывает разной, — сказал он, не поднимая глаз от записей. — Со временем вы научитесь различать её оттенки.

Он не пояснил, что имел в виду. Часть метода заключалась именно в этом — оставлять фразы недосказанными, чтобы объект сам достраивал их смысл, чаще всего в сторону большей тревоги, чем предполагал сам вопрос. Это было эффективнее прямых угроз и не оставляло следов в протоколе.

Закончив осмотр, он вернулся в кабинет и сделал последнюю запись дня, короче предыдущих: «Этап первый инициирован. Дальнейшее — вопрос последовательности, а не силы».

Глава 3. Протокол наблюдений

0600. Подъём. 0615. Кофе, чёрный, без сахара — привычка, оставшаяся с Пусана. 0700. Инструктаж с доктором Леви. Кратко. Он не любит, когда его прерывают вопросами до полудня.

Дэвид Вэнс записывал время механически, даже когда не требовалось — армейская выучка не спрашивает разреше-

ния остаться в теле после того, как форма снята. Он мог бы описать это чувство доктору Леви, если бы тот спросил, но доктор не спрашивал ничего, что не входило в протокол исследования, а привычка вести хронометраж собственного дня в протокол не входила.

Комната наблюдения находилась за зеркалом Гезелла — прямоугольным окном, которое с одной стороны показывало обычное зеркало, а с другой открывало вид на смотровую, где сейчас сидела объект номер четыре. Вэнс занял место у стола с блокнотом, термосом и секундомером, который использовал не столько для точности, сколько для того, чтобы руки были заняты.

Он смотрел, как Леви входит, как женщина на кушетке чуть приподнимает бровь при слове «объект». Вэнс отметил это в блокноте одной строкой, без комментария — не его дело интерпретировать реакции, только фиксировать их. Но что-то в этом движении брови зацепило его, отозвалось не в профессиональной части сознания, а где-то ниже, в том слое, который он давно научился не открывать при исполнении обязанностей.

В Корее было похожее зеркало. Не буквально — там не было ни зеркал, ни смотровых, только палатка с брезентовыми стенами и человек напротив, которого называли «объект» по той же причине, по которой номер удобнее имени: номер не просит пощады голосом, который потом снится. Вэнс не думал об этом уже несколько лет — вернее, научил-

ся не думать, — но зеркало Гезелла оказалось той самой поверхностью, которая отражает не то, что перед ней, а то, что позади наблюдателя.

Он написал: «Объект демонстрирует спокойствие, совместимое с лёгкой диссоциацией. Возможно защитный механизм, а не эффект препаратов. Требуется уточнение у доктора Леви».

За окном комнаты наблюдения — узким, почти бойницей, — виднелся край сада, где ветер сгонял листья к каменной ограде, наметая их неровными жёлтыми грядами, как снег намечает у забора зимой. Вэнс поймал себя на том, что смотрит туда дольше, чем следовало, и вернул взгляд к зеркалу.

Доктор Леви закончил осмотр, вышел, и Вэнс остался один в комнате наблюдения ещё на несколько минут — по инструкции, чтобы зафиксировать «эффект последействия», то есть поведение объекта в момент, когда она полагает, что за ней больше не наблюдают. Мэгги сидела на кушетке неподвижно, глядя в точку на стене, где раньше, судя по светлому прямоугольнику, висела картина. Затем — медленно, почти незаметно — она подняла руку и коснулась запястья, того самого места, куда позже наденут браслет с номером. Не тревожно. Скорее задумчиво, как человек ошупывает шрам, который ещё не появился, но уже предчувствуется.

Вэнс записал и это. Потом закрыл блокнот, налил кофе из термоса — уже остывший — и подумал о том, что за де-

вятнадцать месяцев службы в клинике впервые поймал себя на желании, чтобы объект наблюдения оказался сильнее, чем предполагает протокол.

Он не записал эту мысль. Для неё в протоколе не было графы.

Глава 4. Круг

Письмо пришло на третий день — вернее, не письмо, а конверт, вскрытый до того, как попал к ней в руки, с аккуратно подклеенным краем, будто его прочли, оценили и запечатали заново с профессиональной небрежностью, рассчитанной на то, чтобы её не заметили. Мэгги заметила. Она уже привыкла замечать такие вещи — работа архивиста приучает глаз к тому, что подлинность документа читается не по содержанию, а по состоянию бумаги.

Письмо было от тёти Элен, единственного близкого человека, оставшегося после смерти отца. Обычные строки — как доехала, как погода, скучает ли Мэгги по дому. Но в конце, там, где раньше тётя всегда писала «звони, когда сможешь», теперь стояло другое: «Доктор сказал, что звонки в первые недели могут мешать процессу. Мы понимаем. Ждём вестей, когда будет уместно».

Мэгги перечитала эту фразу трижды, пытаюсь услышать в ней голос тёти Элен — и не находя его. Слова были правильные, но порядок был не тётин. Тётя никогда не говорила «когда будет уместно» — она говорила «как надумаешь» или

просто «пиши». Мэгги подумала: может быть, это доктор Леви продиктовал формулировку, объяснил тёте, как правильно поддержать пациентку на раннем этапе лечения. Мысль была разумной, укладывалась в рамки того, что она знала о клинической практике. И всё же что-то в этой разумности казалось чрезмерно гладким, как камень, который слишком долго перекатывало море.

За обедом — общим для четырёх пациентов клиники, хотя обедали они в разных концах длинного стола, будто рассадка была продумана так же тщательно, как расписание процедур, — Мэгги спросила сестру Ковальски, можно ли позвонить домой.

— Телефон в холле сейчас не работает, — ответила та, не поднимая глаз от подноса. — Мастер приедет на следующей неделе.

— А на прошлой неделе он работал?

— Я здесь только месяц, мисс Грейс. Не могу знать.

Ответ был построен безупречно — ни лжи, которую можно уличить, ни правды, которую можно ухватить. Мэгги доела суп в молчании, глядя, как за окном столовой облетает последний убор с клёна у крыльца — того самого, что она заметила ещё в такси. Дерево оголялось неровно, пятнами, будто ветер выбирал ветки по собственной прихоти, а не по законам физики.

После обеда она пошла в библиотеку — маленькую комнату на втором этаже с камином, который никогда не топи-

ли, хотя дрова лежали в корзине, аккуратно наколотые, будто для антуража, а не для тепла. На полках стояли книги без всякой системы: труды по психиатрии соседствовали с романами Диккенса и справочником по орнитологии Новой Англии. Мэгги взяла этот справочник, села у окна и стала листать страницы, не читая — просто чтобы руки были заняты чем-то, кроме собственного беспокойства.

За окном, на ветке той же оголяющейся яблони, села сойка — синяя, крикливая, совершенно равнодушная к дому и его тишине. Мэгги смотрела, как птица склёвывает что-то с коры, и подумала о тёте Элен, о своей университетской подруге Рут, с которой не виделась с похорон, о коллегах из архива, которые, наверное, уже спрашивали друг друга, куда она пропала. Круг людей, которые знали её настоящей, а не «объектом», сужался с каждым днём — не резко, не заметно для стороннего глаза, а так, как сужается горизонт для человека, идущего в туман: граница отступает медленно, но неотвратно, и в какой-то момент выясняется, что видно только то, что в трёх шагах.

Она закрыла справочник и решила, что напишет тёте Элен сама — на бумаге, которую найдёт в комнате, — и попросит медсестру отправить письмо лично, минуя общий ящик в холле. План был простой и, возможно, наивный. Но впервые за три дня Мэгги почувствовала что-то похожее на волю к сопротивлению — тихую, почти незаметную даже для неё самой, спрятанную так же аккуратно, как подклеенный край

чужого конверта.

Глава 5. Терапия

Кабинет для групповых занятий располагался в бывшей оранжерее — стеклянные стены сохранились, хотя большинство растений давно вымерзли или были убраны, и теперь помещение служило странным гибридом: с одной стороны свет лился так же щедро, как в саду, с другой — четыре кресла стояли кругом, слишком по-клинически для комнаты, задуманной для цветения.

Доктор Леви начинал групповые сеансы всегда одинаково: с тишины, которую выдерживал ровно две минуты, прежде чем заговорить. Он утверждал коллегам — тем немногим, кто интересовался его методом за пределами клиники, — что тишина работает как растворитель: снимает первый слой социальной защиты быстрее, чем любой вопрос.

— Сегодня я хочу поговорить о честности, — сказал он, когда молчание истекло. — Не о той честности, которой нас учат в детстве — не укради, не солги начальнику. Я говорю о честности иного порядка: готовы ли вы признать, что многое из усвоенного вами о морали было навязано, а не выбрано?

В кругу сидели четверо: Мэгги, мужчина лет сорока по имени Фрэнк, страдавший, по официальной версии, тяжёлой формой бессонницы, и две женщины, чьих имён Мэгги пока не запомнила — их называли на сеансах инициалами, Р. и С., что она сочла странным, но не спросила почему.

— Возьмём простой пример, — продолжал Леви, обращаясь как будто ко всем сразу и ни к кому в отдельности. — Вы солгали кому-то на этой неделе?

Тишина. Фрэнк заёрзал в кресле.

— Я сказал сестре, что хорошо спал, — признался он наконец. — Хотя не спал вовсе.

— И почему вы солгали?

— Чтобы её не тревожить.

Леви кивнул, будто ответ подтвердил гипотезу, известную ему заранее.

— Вот видите. Вы уже усвоили: правда должна подчиняться чужому спокойствию. Это не мораль. Это дрессировка. — Он произнёс слово «дрессировка» без нажима, буднично, как произносят медицинский термин. — Настоящая честность требует смелости говорить неудобную правду даже тогда, когда она разрушает чужой покой.

Мэгги слушала, и в этой логике было что-то соблазнительно ровное — как в геометрической фигуре, которая кажется безупречной, пока не измеришь углы. Она чувствовала: за этим рассуждением стоит не философия, а расчёт, хотя не могла ещё сформулировать, в чём именно расчёт заключается.

— Объект четыре, — сказал вдруг Леви, впервые за сеанс обращаясь к ней напрямую этим словом при всех, — вы храните что-то, что не сказали никому в этой комнате?

Вопрос повис в стеклянном воздухе оранжереи, среди

пыльных горшков, где когда-то росли орхидеи. Мэгги почувствовала, как остальные трое посмотрели на неё — не с сочувствием, а с тем особым голодом людей, которым обещали, что чужая откровенность облегчит их собственную.

— Возможно, — сказала она осторожно. — Но я пока не готова делиться этим здесь.

— Пока, — повторил Леви с едва уловимой улыбкой, будто взял это слово в скобки для собственных записей. — Хорошо. «Пока» — честный ответ. Я приму его.

Он отвёл взгляд, но Мэгги успела заметить, как быстро он что-то отметил в блокноте — не глядя на страницу, движением человека, для которого запись стала рефлексом, отдельным от процесса разговора.

После сеанса, когда остальные разошлись, Леви задержал её у двери оранжереи.

— Мисс Грейс. — На этот раз он назвал её по имени, и от этого стало почему-то тревожнее, чем от номера. — Я хочу, чтобы вы понимали: правила, которые привели вас сюда — что можно чувствовать, а что нельзя, кому доверять, а кого остерегаться, — не даны свыше. Их установил кто-то до вас, из соображений, которые вам не всегда известны. Здесь у вас есть редкая возможность пересмотреть их с чистого листа.

— А если я не хочу их пересматривать? — спросила она. — Если то, что я усвоила, мне подходит?

— Тогда, — сказал он мягко, — вы, вероятно, не до конца понимаете, что именно усвоили.

Он ушёл, оставив её одну среди пустых цветочных горшков, и Мэгги долго стояла у стеклянной стены, глядя на сад, где ветер сгибал уже почти голые ветви яблонь, и думала о том, что впервые за много лет не может с уверенностью сказать, где заканчивается разумный довод и начинается что-то другое, для чего у неё пока не было слова.

Глава 6. Конверт

Письмо лежало на подносе для исходящей корреспонденции — там, где сестра Ковальски, следуя протоколу, оставляла всё, что пациенты писали домой, для «проверки на предмет содержания, способного нарушить терапевтический процесс». Формулировка принадлежала доктору Леви, и Вэнс за девятнадцать месяцев работы в клинике прочитал, должно быть, не одну сотню подобных писем, ни разу не задав вопрос, насколько эта проверка законна.

Он узнал почерк сразу — острый, разборчивый, с характерным наклоном букв «т» и «л», которые сближались, будто торопились закончить слово раньше, чем начатую мысль. Конверт был адресован некой Элен Грейс, Бостон.

Вэнс сел за стол в своей комнате — маленькой, почти монашеской, с одним окном на задний двор клиники, где хранились дрова и стояла старая теплица для рассады, уже нежилая, — и держал конверт в руках дольше, чем требовалось для простого решения о том, вскрывать его или нет.

Инструкция была недвусмысленной: все письма проходят

через доктора Леви до отправки. Но Вэнс знал и то, что происходило дальше — знал, потому что дважды видел исходящую почту после «проверки»: страницы, где отдельные фразы были аккуратно вымараны чёрными чернилами, а иногда переписаны заново рукой, похожей на почерк секретаря, но не идентичной ему. Не редактura. Замена.

Он вскрыл конверт паром от чайника — старый приём, которому его научил ещё сержант в учебке, для совсем других целей, — и прочитал письмо Мэгги Грейс своей тёте.

Оно было коротким. «Элен, если это письмо дойдёт до тебя в неизменном виде — доверься мне. Здесь что-то не так с почтой. Телефон не работает уже неделю, хотя мастер, как мне сказали, должен был приехать ещё в понедельник. Пожалуйста, приезжай, если сможешь, хотя бы на день. Я в порядке, но мне нужно, чтобы кто-то извне подтвердил, что я в порядке — если ты понимаешь разницу».

Вэнс перечитал последнюю фразу дважды. «Кто-то извне подтвердил, что я в порядке» — формулировка, слишком точная для человека, страдающего диссоциативной амнезией и лёгкими провалами памяти, как было указано в её деле. Формулировка человека, который методично, шаг за шагом, фиксирует происходящее с себе и понимает, что единственный способ проверить реальность — получить внешнее свидетельство.

Он подумал о Корее. Не в общих чертах, как обычно позволял себе думать об этом — размыто, как о погоде в про-

шлом сезоне, — а конкретно, деталь за деталью: человека в палатке, который тоже пытался в какой-то момент оставить сигнал внешнему миру, нацарапанную на подкладке ботинка надпись, которую Вэнс, тогда двадцатичетырёхлетний лейтенант, обязан был найти и уничтожить при обыске. Он нашёл. Он не уничтожил сразу — держал в руке почти минуту, читая имя и часть адреса где-то в Пусане, прежде чем сжечь над огнём полевой лампы.

Он не помнил, простил ли себя за ту минуту промедления или за то, что в итоге сжёг надпись всё же. Память об этом эпизоде была устроена странно — раздваивалась в момент воспоминания, будто сам он в тот вечер сделал два разных выбора одновременно, и оба остались с ним, не аннулируя друг друга.

Вэнс запечатал письмо Мэгги обратно — паром, тем же способом, каким вскрыл, — и отнёс его на поднос для доктора Леви, как того требовала инструкция. Но перед этим, в единственный момент нарушения субординации за девятнадцать месяцев службы, он достал из ящика стола чистый лист бумаги и написал на нём одну строку без подписи и обратного адреса: «Элен — звоните в клинику напрямую и настаивайте на разговоре с пациенткой лично. Не через администрацию».

Записку он не отправил. Он держал её в кармане форменного пиджака весь оставшийся день, время от времени касаясь бумаги через ткань, как касаются предмета, назначение

которого сам ещё не решил окончательно.

Вечером, заполняя журнал наблюдений, он написал в графе «Дополнительные примечания» единственную фразу, которую позже вычеркнул, но так, что при внимательном разглядывании линия вычёркивания всё равно оставляла слова читаемыми: «Объект четыре демонстрирует уровень осознанности ситуации, несовместимый с официальным диагнозом».

Глава 7. Часы

Мэгги проснулась оттого, что не могла понять, ночь сейчас или утро. Шторы в её комнате были плотными, тяжёлыми — такими, что не пропускали ни полосы естественного света, и потому за закрытым окном день было не отличить от ночи, и единственным ориентиром служили часы на тумбочке — механические, требующие завода, которые она заводила сама каждый вечер перед сном с педантичностью человека, боящегося потерять последнюю нить, связывающую его с расписанием остального мира.

Часы показывали тринадцать.

Дом молчал вокруг неё. Где-то вдалеке — возможно, этажом ниже — раздавались шаги, ровные, неторопливые, как ходит человек, обходящий помещения по обязанности, а не по надобности. Потом тишина. Потом снова шаги, но уже с другой стороны, будто обходчик — или обходчики — двигались по некоему контуру, который Мэгги пыталась выстро-

ить мысленно и не могла: слишком мало данных, слишком много пробелов.

За последние четыре дня её будили в разное время — то в пять утра, для «утреннего анализа крови», хотя накануне такой анализ уже брали, то среди ночи, якобы для проверки температуры в палате, то вовсе без объяснений, просто светом, который на секунду вспыхивал в коридоре за приоткрытой дверью и снова гас. Она начала подозревать, что дело не в халатности персонала, а в некой системе, логика которой была ей недоступна, но существование которой ощущалось так же явно, как сквозняк из-под двери.

Она встала, подошла к окну и отодвинула край шторы на дюйм — ровно настолько, чтобы видеть сад, не обнаруживая себя перед тем, кто, возможно, наблюдал снаружи. Сад был залит бледным светом, среднее между лунным и предрассветным, тем неопределённым освещением, которое лишает предметы теней и делает их плоскими, как театральные декорации. Яблони стояли совсем голые теперь, последние листья облетели за ночь, и в этой наготы деревья казались Мэгги похожими на нервную систему, вывернутую наружу — сплетение веток без единого покрова, скрывающего структуру.

Она вернулась в постель, но заснуть не смогла. Вместо этого начала считать — не овец, а дни. Понедельник, вторник... но на каком дне недели она сейчас находится, Мэгги не могла сказать с уверенностью. Календарь в её комнате от-

существовал; часы показывали время, но не число; а еда подавалась по расписанию настолько ровному, что не позволяло различить будни от выходных. Это открытие испугало её больше, чем сама бессонница. Не то, что она не спала — то, что она потеряла счёт дням, а вместе с ними — ощущение линейного, предсказуемого времени, которое прежде казалось таким же незыблемым, как гравитация.

Утром — если это было утро, судя по свету, но не по внутренним часам, сбитым напрочь, — за ней зашла сестра Ковальски с подносом завтрака.

— Вы выглядите уставшей, мисс Грейс, — сказала она с профессиональной, ничего не значащей заботой.

— Плохо спала, — ответила Мэгги. — Кто-то ходил по коридору всю ночь.

— Здесь никто не ходит по ночам, — сказала сестра, ставя поднос. — Дом старый. Половицы скрипят сами по себе, от перепада температуры.

Ответ прозвучал гладко, отрепетированно, и Мэгги вдруг с ясностью поняла: скорее всего, это правда лишь отчасти. Половицы действительно могли скрипеть от перепада температуры. Но кто-то также действительно ходил по коридору — оба факта могли существовать одновременно, не противореча друг другу, и именно эта возможность двойного объяснения, при которой ложь пряталась внутри правды, а не заменяла её, показалась Мэгги самой пугающей чертой этого места.

Она съела завтрак — овсянку, слишком мягкую, без вкуса, будто приготовленную не для удовольствия, а для функции, — и решила, что впредь будет вести собственный счёт дням. Не на бумаге — бумагу, она уже понимала, читают. В уме. Узел на нитке от больничного халата, который она незаметно оторвёт и спрячет под матрасом, по одному узлу на каждый прожитый в этом доме день, — так, чтобы даже если её убедят, что сегодня понедельник, когда на самом деле пятница, у неё осталось хотя бы одно свидетельство, независимое от слов доктора Леви, от расписания завтраков, от скрипа половиц, объяснённого слишком вовремя и слишком гладко.

За окном, на голой ветке яблони, снова появилась та же синяя сойка — или другая, неотличимая от прежней, — и прокричала что-то резкое, короткое, прежде чем сорваться и улететь в сторону леса, туда, где, как помнила Мэгги ещё по дороге сюда, у ручья стоял олень, равнодушный к машинам и людям, свободный от всякого протокола.

Глава 8. Ось страха

В архивной папке доктора Леви хранился отдельный лист, озаглавленный просто: «Объект №4. Карта уязвимостей». Он вёл такие листы на каждого пациента с первого дня — не диагноз в привычном смысле, а нечто среднее между медицинской картой и партитурой, где вместо нот были страхи, расставленные по силе воздействия.

Для Мэгги Грейс верхняя строка гласила: «Закрытые пространства без источника света — умеренная реакция. Вода — сильная реакция, происхождение неясно, требует уточнения. Утрата контроля над временем — вероятно, ключевая уязвимость, связана с профессиональной идентичностью архивиста».

Последний пункт Леви вписал после разговора о её работе — она обмолвилась, что архивист живёт хронологией так, как рыба живёт водой: даты, последовательность событий, точный порядок документов составляли для неё не просто профессию, а способ удерживать мир в форме, поддающейся пониманию. Разрушить этот порядок означало разрушить нечто более фундаментальное, чем распорядок дня.

Он вызвал её на индивидуальную беседу в среду, в кабинет с окном на подъездную дорожку — намеренно не в тот, что выходил на сад: вид на пустую, уходящую вдаль дорогу производил иной эффект, чем вид на замкнутое пространство участка.

— Мисс Грейс, — начал он, — я хочу провести небольшой эксперимент. Ничего болезненного, ничего, что причинит вред. Я задам вам вопрос, и мне важна не сама правда, а то, с какой скоростью вы её найдёте.

Он положил перед ней часы — обычные наручные часы без ремешка, стрелки остановлены на произвольном значении.

— Какой сегодня день недели?

Мэгги на мгновение замерла. Она знала ответ — знала точно, благодаря узлам на нитке под матрасом, — но что-то в самой формулировке вопроса, в спокойной уверенности, с которой Леви его задал, заставило её усомниться в собственном знании прежде, чем она успела его произнести.

— Четверг, — сказала она, и голос дрогнул на последнем слоге, хотя она была абсолютно уверена в ответе.

— Хорошо, — сказал Леви, не подтверждая и не опровергая. Он сделал пометку в блокноте, и по тому, как аккуратно он избегал её взгляда, Мэгги поняла: не важно, был ли четверг на самом деле. Важна была именно эта дрожь в голосе, доля секунды сомнения там, где секунду назад была твёрдость.

— Вы боитесь ошибиться, — сказал он мягко. — Это интересно. Не самой ошибки — большинство людей не боятся ошибиться в дне недели. Вы боитесь того, что ошибка будет означать: что-то в вас перестало работать правильно.

Мэгги молчала. Она чувствовала, как земля под этим разговором становится зыбкой — не потому, что Леви лгал, а потому, что он, возможно, был прав, и признание его правоты пугало её больше, чем сама возможная ошибка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.